

Сергей Шаповалов



Птица В ЗОЛОТОЙ КЛЕТКЕ

Иногда свобода — это лишь мечта,
а надежда живёт в самых маленьких сердцах

ДМИТРИЙ ВОРОБЬЕВ

Сергей Шаповалов

Птица в золотой клетке

«Автор»

2026

Шаповалов С.

Птица в золотой клетке / С. Шаповалов — «Автор», 2026

Золотые прутья, железная клетка. Элитная гимназия «Брайтон-колледж», 800 тысяч в месяц за обучение. Для одних — рай на земле, для Тёмы Горелова — ад с панорамными окнами. Он здесь чужак: отец владеет тремя автосервисами, а не нефтяной вышкой. У него нет последней модели айфона и кроссовок от-кутюр. Зато есть увлечение астрономией и тихий взгляд человека, который привык быть невидимым. Этого достаточно, чтобы сын замминистра сделал его своей мишенью. Когда травля становится невыносимой, единственный, кто видит правду, — пожилая учительница английского Елизавета Андреевна. Она идёт против системы, директора и родителей-воротил. Её главное оружие — урок литературы и рассказ-притча о птице в золотой клетке, финал которой должны дописать сами палачи. «Круги по воде» — это история о том, как один честный поступок ломает стену из денег и страха. О цене сострадания в мире, где всё продаётся. И о том, что настоящая роскошь элитной школы — это право остаться человеком.

© Шаповалов С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Часть Первая: Башня из стекла и памяти	6
Пролог.	6
Глава 1. Огни под ногами	8
Глава 2. Голос из облака	11
Глава 3. Брайтон-колледж: первое знакомство	14
Утро в Хамовниках	14
Учительская	18
8 «Б» — первые минуты	21
Урок английского	24
Глава 4. Золотая молодежь и мальчик без оболочки	26
Столовая	26
Раздевалка после физкультуры	29
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Сергей Шаповалов

Птица в золотой клетке

Птица в золотой клетке

Часть Первая: Башня из стекла и памяти

Пролог.

Октябрь, наши дни

Файл назывался «Дневник. 2023–2024.docx».

Тысячу сто девяносто три дня никто его не открывал. Он лежал в iCloud, невесомый и неподвижный, как насекомое в капле янтаря, — и ждал.

Елизавета Андреевна коснулась трекпада. Курсор дрогнул.

За окном, на двадцать четвёртом этаже Москва-Сити, плыл вечерний город: огни Кутузовского, пробка, далёкий золотой шпиль МГУ. Там, внизу, шумела жизнь — а здесь, в тишине квартиры, открывался файл, которого она боялась три года.

Первая запись ударила под дых:

«Сегодня Тёма Горелов опоздал на урок».

И всё вернулось.

Не весь дневник был её. Половина записей принадлежала мальчику, который давно вырос, — но его слова врезались в память глубже собственных. Она помнила каждое наизусть и всё равно перечитывала. Как возвращаются на место аварии. Как дотрагиваются до старого шрама.

Это была история о золотой клетке.

О школе, где парковка забита «Майбахами», а дети с четырнадцати лет умеют оценивать стоимость чужой куртки быстрее, чем содержание параграфа. О мальчике, который пришёл туда с ржавым гвоздём в кармане — и никому не мог объяснить, зачем ему гвоздь.

О том, как стая всегда чует чужого.

О женщине, которая решила вмешаться — и обнаружила, что система, призванная защищать, защищает кого угодно, кроме жертвы.

И о дне, когда один урок изменил всё.

Елизавета Андреевна отодвинула ноутбук. Стеклоанная стена отражала её — усталую женщину шестидесяти восьми лет, только что вернувшуюся из онкодиспансера. Четыре слова врача: «Ремиссия. Но сил мало».

Она знала: сил действительно мало. Возможно, это её последняя осень.

И поэтому — именно поэтому — она должна дописать.

Потому что у этой истории нет конца. Точнее, он есть — но его знает только она.

А это несправедливо.

Чайник на кухне засвистел. Она не услышала.

«Я перечитаю всё, — подумала она. — От начала до конца. А потом скажу то, что не решилась сказать тогда».

Палец снова лёг на трекпад.

Файл послушно прокрутился вниз, к первой странице сентября 2022 года.

К тому дню, когда Тёма Горелов впервые переступил порог 8 «Б».

К дню, когда золотая клетка захлопнулась.

И Елизавета Андреевна начала читать.

Глава 1. Огни под ногами

Был октябрьский вечер, из тех, что наступают в Москве как-то вдруг, без предупреждения: только что ещё серело небо над Пресненской набережной, и вдруг — уже темень, и внизу, под двадцать четвёртым этажом, зажглись огни. Много огней. Даже слишком много, сказал бы посторонний наблюдатель, если бы таковой имелся. Но наблюдателя не было — была только Елизавета Андреевна, женщина шестидесяти восьми лет, сидевшая в низком кресле у панорамного окна и рассеянно глядела вниз, на Москву-реку, на Кутузовский проспект, на далёкий, едва заметный в дымке шпиль Университета.

В квартире было тепло, даже душно — кондиционер, спрятанный где-то под потолком, старательно гудел, но Елизавете Андреевне всё равно было зябко. Она куталась в серый пуховый платок, поджимала ноги и вообще имела вид человека, который только что перенёс продолжительную и неприятную дорогу. Отчасти так оно и было: час назад она вернулась из онкологического диспансера.

Диспансер этот помещался в старом районе Москвы, в здании с облупившейся краской на стенах и тем особым запахом — смесью хлорки, лекарств и ещё чего-то неопределённого, — который свойствен всем медицинским учреждениям, сколько бы их ни ремонтировали и ни красят. Там, в длинном коридоре, на скамьях, сидели женщины — все как одна с той особенной, покорной бледностью, которая появляется у людей, когда они уже насмотрелись на то, на что обыкновенному человеку смотреть не полагается. Они сидели молча, изредка перебрасываясь короткими, ничего не значащими фразами. Говорить о погоде было глупо, о болезни — страшно, о жизни — как-то неловко. Поэтому сидели и молчали.

Врач, принимавший Елизавету Андреевну, был ещё молод — лет тридцати пяти, не больше. Фамилия у него была простая, русская, но Елизавета Андреевна её тут же забыла, потому что память в последние годы стала изменять ей, особенно на имена и даты. Он долго смотрел в бумаги, кивал, хмурился, потом сказал, что ремиссия, что всё хорошо, что анализы приличные и что «в вашем возрасте, Елизавета Андреевна, надо себя беречь». Он произнёс это тем особенным, казённо-участливым тоном, каким обыкновенно говорят врачи с пациентами, перешагнувшими некоторый возрастной рубеж, — с лёгким оттенком снисходительности и сознанием собственного, пока ещё нерастраченного здоровья.

Елизавета Андреевна выслушала его, поблагодарила и вышла на улицу. За те два часа, что она просидела в диспансере, погода испортилась окончательно: ветер гнал по тротуару сухие листья, небо набрякло, собирался дождь. Она поймала такси и всю дорогу до дома молчала, глядя в окно на проплывавшие мимо дома, вывески, перекрёстки — на всю эту московскую жизнь, которая текла своим чередом, нисколько не интересуясь ни Елизаветой Андреевной, ни её анализами, ни её ремиссией.

Дома она прошла прямо к окну и села. В последнее время это сделалось у неё чем-то вроде привычки, почти ритуала: возвращаясь откуда-нибудь — из поликлиники, из магазина, с короткой прогулки по набережной — она садилась к окну, смотрела вниз и думала. Вернее, не столько думала, сколько позволяла мыслям течь самим по себе, без направления и цели, как текут облака в октябрьском небе или вода в Москве-реке.

А внизу, между тем, шла жизнь. По Кутузовскому проспекту, извиваясь двумя длинными огненными змеями, ползла пробка: красные фонари в одну сторону, белые в другую. Можно было, если присмотреться, различить марки машин, а иногда даже лица водителей — большую частью хмурые, озабоченные, с тем выражением терпеливой покорности судьбе, какое бывает у людей, привыкших стоять в московских пробках. Река отражала фонари, и отражения дрожали, двоились, складывались в причудливые узоры. Где-то далеко, на Воробьёвых горах, смутно белел шпиль Университета — тот самый, что когда-то, сорок лет назад, видел Елизавету Андреевну молодой, румяной, с тетрадкой лекций под мышкой, и теперь смотрел на неё же, состарившуюся, больную, сидящую в стеклянной башне над городом, и, казалось, не узнавал.

«В такие вечера особенно ясно понимаешь: жизнь прожита. Можно подводить итоги», — подумала Елизавета Андреевна и тут же усмехнулась про себя, потому что фраза вышла слишком уж торжественная, почти из романа, а она никогда не любила торжественности. Тридцать два года она проработала в школе, из них пятнадцать — завучем, и за эти годы так привыкла говорить просто, коротко, по делу, что всякие красоты казались ей чем-то вроде духов в гранёном флаконе: вещь, может быть, и бесполезная, но совершенно непригодная для повседневного употребления.

Она оглядела комнату. Комната была хорошая, просторная; муж, уходя, оставил ей эту квартиру — не из благородства, а скорее по рассеянности, как оставляют на старом месте зонтик или перчатки. Впрочем, бог с ним, с мужем. Важно было другое: теперь, когда школа осталась позади, когда сын в Берлине, а внук говорит по-русски с акцентом, — теперь у неё было много времени. Слишком много. Даже чересчур. Нечем было занять эти бесконечные, длинные, как осенняя ночь, часы.

Она протянула руку к журнальному столику, на котором лежал старый MacBook. Вещь тоже была хорошая, добротная, хотя и не новая: Елизавета Андреевна купила его в четырнадцатом году, когда в школе ввели электронные журналы, и с тех пор так к нему привыкла, что менять не хотела. На крышке ещё держалась наклейка лондонского метро — синий кружок, красная полоска поперёк, — которую приклеил кто-то из молодых учителей в шутку, а она так и не отодрала. Клавиши «А» и «О» были затёрты до блеска — верный признак того, что вещью пользовались много и с толком.

Она открыла крышку. Экран засветился, система загрузилась — не быстро, но Елизавета Андреевна не торопилась. Торопиться теперь было решительно некуда. На рабочем столе лежали папки: «Успеваемость», «Отчёты», «ВПР», «Родительские собрания». Весь этот школьный архив, на который она сейчас смотрела почти с удивлением: неужели всё это было в её жизни? Неужели все эти бесконечные таблицы, ведомости, протоколы, справки — всё это имело когда-то значение?

Она открыла Finder, нашла в iCloud нужный файл. Он назывался «Дневник. 2023–2024.docx» и был последним в длинном ряду таких же файлов — по году на каждый. Она вела этот дневник почти год, с августа двадцать третьего, когда вышла на пенсию и вдруг обнаружила вокруг себя пустоту. Сначала это было просто занятие — что-то вроде привычки, перенесённой из школьной жизни: если нет уроков, нет планёрок, нет отчётов — нужно хотя бы писать. Потом это вошло в привычку, потом стало потребностью. Она писала обо всём: о сыне, который звонил раз в месяц и говорил коротко, сухо, точно отбывал номер; о внуке, который рос без неё и уже не понимал половины русских слов; о коллегах, которые сначала звонили часто, а потом всё реже и реже, потому что у них была своя жизнь, свои заботы и вообще —

с глаз долой, из сердца вон; о матери, которая умерла в две тысячи девятом, — лёгкая, как ребёнок, она лежала в больничной палате и всё спрашивала: «Лиза, ты уроки сделала?», а Лиза кивала и не плакала, хотя плакать хотелось ужасно.

Тысяча сто девяносто три дня прошло с тех пор, как она открывала этот файл в последний раз. Почти три года. За эти три года с ней случилось многое: диагноз, химиотерапия, операция, восстановление, снова обследования. Она не открывала дневник не потому, что не хотела, а потому, что не могла. Не было сил. Теперь силы, кажется, появились — или, вернее, наступило то особенное, тихое равнодушие, которое иногда приходит к людям после долгой болезни и которое со стороны легко принять за спокойствие.

Она дважды кликнула по файлу.

Пока загружался документ — а загружался он медленно, потому что был велик, — Елизавета Андреевна сидела и думала о том, как странно устроена жизнь. В детстве, когда они жили на Плющихе, в старой коммуналке, была под лестницей кладовая. Дверь в неё всегда запирали на всякий замок, и маленькая Лиза, проходя мимо, всякий раз прижималась ухом к двери и слушала: не скребутся ли мыши? Ей казалось, что там, за дверью, — целый мир, таинственный и немного страшный. Теперь такой кладовой был этот файл. Она боялась его открыть и всё-таки открыла — потому что человек так устроен: он всегда хочет знать, что там, за дверью. Даже если знает, что ничего хорошего.

Документ открылся. Белая страница. Слова. Много слов. Елизавета Андреевна поправила платок, подвинула ноутбук ближе и, прищурившись, принялась читать. За окном шёл дождь — мелкий, октябрьский, почти бесшумный. По карнизу барабанили капли. В комнате было тихо, только старый MacBook чуть слышно гудел, точно старик, вспоминающий молодость.

Елизавета Андреевна читала. И по щекам её текли слёзы — медленно, беззвучно, как течёт всё в этой жизни, которая сначала кажется бесконечно длинной, а потом вдруг обрывается на полуслове, и никто не знает, зачем она была.

Глава 2. Голос из облака

Есть что-то странное, даже нелепое в том, как мы теперь храним память. Прежде, бывало, дневники запирали в шкапулки — с крошечным замочком и ключом на шнурке; их прятали под половицы, зашивали в подкладку старого пальто, уносили с собой пересчитывать пожелтевшие страницы и плакать. Теперь же всё иначе. Теперь дневники лежат в облаке — в этом странном, эфемерном «облаке», которое не имеет ни веса, ни цвета, ни запаха, но хранит в себе больше тайн, чем все шкапулки мира, вместе взятые. И жгут они так же. Даже, пожалуй, сильнее.

Елизавета Андреевна думала об этом, пока старый MacBook, потрескивая вентилятором, открывал файл. Тысяча сто девяносто три дня — цифра, разумеется, вздорная, случайная, но почему-то именно она засела в голове, как застрекает в зубе вишнёвая косточка: не болит, а мешает. Три года и три месяца. За это время можно уехать в другой город, можно родить ребёнка, можно умереть, можно забыть всё, что было. Но файл лежал и ждал. Ему некуда было торопиться — у электронов нет возраста, у серверов нет памяти в человеческом смысле этого слова, им всё равно, хранят ли они отчёт о педсовете или исповедь старой женщины.

Наконец документ открылся. Белое поле, слева — даты, справа — текст. Обыкновенный вордовский файл, шрифт Times New Roman, четырнадцатый кегль, полуторный интервал. Ничего особенного. И всё-таки у Елизаветы Андреевны, когда она увидела первую строку, что-то ёкнуло в груди — то самое «что-то», чему нет названия в медицинских словарях, но что известно всякому, кто когда-нибудь находил в старом комоде забытое письмо.

Первая запись была короткой — всего несколько строк. Она гласила:

«Сегодня Тёма Горелов опоздал на урок. Вошёл, когда я уже объясняла новую тему, — весь красный, запыхавшийся, в расстёгнутой куртке. Сказал, что проспал. Я ничего не ответила, только кивнула: садись. Он сел на своё место, у окна, и весь урок смотрел не на доску, а куда-то вдаль, за стекло, где летали голуби. Господи, как же я по этому скучаю».

И — как от удара током — всё возвратилось.

Елизавета Андреевна откинулась в кресле и прикрыла глаза. Перед ней, точно живая, встала картина: школьный класс, третий этаж, кабинет английского языка. Окна выходят во двор, и в них, когда весна, видно, как на ветках тополя набухают почки. Парты в три ряда, на стенах — портреты классиков: Пушкин, скучающий, с бакенбардами; Гоголь, острый, птичий, глядящий куда-то мимо; Толстой, суровый, в мужицкой рубахе. Запах мела и старой бумаги. И тридцать пар глаз — внимательных, насмешливых, скучающих, влюблённых, равнодушных — смотрят на неё, Елизавету Андреевну, тогда ещё просто Елизавету Андреевну, завуча и учителя русского языка и литературы.

И Тёма Горелов. Конечно же, Тёма Горелов. Высокий, нескладный мальчик с вечно взлохмаченными волосами и двойкой по химии, но зато с каким-то особенным, врождённым чувством языка — он писал сочинения так, что Елизавета Андреевна, проверяя их, иногда забывала ставить оценки и просто читала, страницу за страницей, удивляясь, откуда в четырнадцатилетнем подростке столько понимания жизни, которой он ещё и не нюхал. Он вечно опаздывал, вечно забывал тетради, вечно спорил, вечно задавал вопросы не по теме — и она,

строгая Елизавета Андреевна, которую за глаза называли «железной леди», почему-то не могла на него сердиться. Что-то в нём было такое — незащищённое, трогательное, — что обезоруживало всякую строгость.

«Господи, как же я по этому скучаю», — прочитала она ещё раз и покачала головой. Странно: когда пишешь такие слова, они кажутся почти банальностью, общим местом. Но проходит три года — и вдруг обнаруживаешь, что за этой банальностью стоит целый мир. Ушедший. Исчезнувший. Как не было.

Её рука, лежавшая на трекпаде, слегка дрожала. Это была старая, натруженная рука — с тонкой, почти прозрачной кожей, сквозь которую просвечивали синие жилки, с узловатыми суставами и обручальным кольцом, которое она так и не сняла, хотя муж не жил с ней уже больше четверти века. Не сняла — не из сентиментальности, а просто забыла, а потом привыкла, а теперь уже и незачем. Рука лежала на холодном алюминии MacBook, и в стеклянной стене напротив отражались она сама, её кресло, платок в мелкую клетку и огни ночного города позади — огромного, равнодушного, живущего своей, отдельной жизнью, которой не было до Елизаветы Андреевны ровно никакого дела.

Она провела пальцем по трекпаду — документ послушно прокрутился вниз, открывая новые записи. Их было много. Очень много. Она писала почти каждый день — иногда подробно, на две-три страницы, иногда коротко, одной строчкой: «Сегодня болела голова», «Звонила мама», «Дождь». Но из этих коротких, отрывочных заметок, как из кусочков смальты, складывалась картина — целый год жизни, год, который она прожила наедине с собой после того, как школа кончилась.

И вот теперь, глядя на эти строчки, она вдруг отчётливо, почти физически ощутила: нет, не кончилась. Школа не кончилась, пока живы те, кто в ней был. Она продолжалась — в памяти, в дневнике, в этих тридцати парах глаз, которые смотрели на неё с каждой страницы.

И тогда Елизавета Андреевна приняла решение. Не то чтобы она долго обдумывала его — напротив, оно возникло мгновенно, как возникает решение выйти из душной комнаты на воздух или открыть окно, когда в доме пахнет гарью. Просто она вдруг поняла: перечитать — мало. Нужно дописать.

«Я перечитаю всё, — сказала она вслух, хотя в комнате никого не было, и звук собственного голоса показался ей неожиданно громким, почти чужим. — Я перечитаю всё. И допишу. Потому что у этой истории нет конца — точнее, он есть, но его знаю только я, а это несправедливо».

Она помолчала, прислушиваясь к себе. Слова вышли слишком торжественные, и она тут же усмехнулась — как усмехалась когда-то на уроках, если кто-нибудь из учеников, увлечшись, начинал говорить слишком красиво. Но смысл был верный. Конец у истории действительно был — только она знала, чем всё закончилось с Тёмой Гореловым, с другими её учениками, с самой школой, с городом, со страной. Дневник обрывался на октябре двадцать четвёртого года — а дальше была тишина. Тысяча сто девяносто три дня тишины. Пора было её нарушить.

Она снова взглянула в окно. Там, внизу, по-прежнему текла Москва-река — чёрная, маслянистая, в золотых отсветах. Всё так же полз по Кутузовскому пробка — красные фонари в

одну сторону, белые в другую. И шпиль Университета всё так же маячил вдалеке, как маяк, который никому не светит.

Странное чувство охватило её — не грусть и не радость, а скорее какое-то тихое, смиренное удовлетворение. Как будто она наконец нашла дело — настоящее, стоящее, — ради которого стоило просыпаться по утрам. Смешно: тридцать два года она учила других, а теперь, выйдя на пенсию, вдруг поняла, что сама толком не выучилась — не выучилась помнить. Или, вернее, выучилась, но забыла. А теперь пришло время вспомнить.

За окном шёл мелкий, нудный дождь — тот самый, октябрьский, который заряжает на целую неделю и превращает московские улицы в серое месиво. Но Елизавете Андреевне было тепло. Она сидела в своём кресле, укутанная в платок, перед старым MacBook, и на душе у неё было то особенное, почти забытое спокойствие, какое бывает у человека, когда он знает, что делать дальше.

Она закрыла ноутбук и пошла на кухню.

На кухне было темно и тихо. Елизавета Андреевна не стала включать верхний свет, зажгла только маленький ночник над столешницей — и комната наполнилась мягким, желтоватым полумраком, в котором все предметы казались немного старомодными, немного печальными и очень уютными.

Она поставила чайник. Старый, ещё советский, со свистком — он грелся долго, но зато вода в нём получалась какая-то особенно вкусная, живая, не то что из электрического. Пока вода закипала, она стояла у окна, смотрела на огни соседних башен и думала.

«Странно, — думала она, помешивая ложечкой в кружке. — Прошло столько лет. Тысяча сто девяносто три дня. Целая вечность. А сердце колотится так, будто всё случилось вчера. Будто я всё ещё там — в школе, на третьем этаже, и Тёма Горелов только что вошёл в класс, красный, запыхавшийся, и сказал: „Извините, Елизавета Андреевна, проспал“. И я кивнула: садись. И он сел. И начался урок».

Она вздохнула, взяла кружку обеими руками — горячую, обжигающую — и медленно, стараясь не расплескать, понесла обратно в комнату. Там было всё так же: кресло, плед, ноутбук, огни за окном. Но что-то изменилось. Как будто воздух в комнате стал плотнее, насыщеннее, как бывает перед грозой. Или после долгого молчания, когда кто-то наконец решается заговорить.

Она села в кресло, поставила чай на столик, открыла ноутбук. Экран послушно засветился. Файл был на том же месте, где она его оставила.

Елизавета Андреевна сделала глоток чаю — горячего, терпкого, с бергамотом — и открыла следующую запись.

Глава 3. Брайтон-колледж: первое знакомство

Утро в Хамовниках

Если идти по Малому Лёвшинскому переулку ранним сентябрьским утром, когда солнце ещё только пробует золотить купола Зачатьевского монастыря, а воздух свеж и прозрачен, как родниковая вода, — то непременно остановишься перед домом номер семь. Остановишься и, скорее всего, задержишься на минуту-другую, сам не зная почему. Может быть, из-за фасада — строгого, благородного, цвета слоновой кости, с лепниной и высокими, в два человеческих роста, окнами. Может быть, из-за чугунной ограды, за которой угадывается старый сад — липы, клёны, аккуратно подстриженные кусты сирени. А может быть, из-за той особенной тишины, которая стоит в этом переулке, — не мёртвой, не кладбищенской, а живой, наполненной, какой-то дореволюционной, как будто вот-вот из-за угла выедет извозчик или пройдёт дама в шляпке с вуалью.

Это был старый московский особняк XIX века — из тех, что чудом уцелели и в пожарах, и в революциях, и в перестройках, переходя из рук в руки, меняя хозяев и назначения. Когда-то здесь жил купец первой гильдии, державший мануфактуры на трёх губерниях; потом, после семнадцатого года, — коммунальная квартира на двадцать четыре комнаты, и в каждой — по семье, и в коридорах пахло щами и карболкой; потом, в пятидесятых, — райком партии; потом, в девяностых, — офис какого-то банка, который лопнул, не просуществовав и трёх лет. А теперь здесь помещался Брайтон-колледж — частная школа, о которой Елизавета Андреевна слышала много и разное, но своими глазами до сегодняшнего дня не видела.

Теперь она стояла перед воротами и смотрела.

Обособняк отреставрировали с той особой, почти музейной тщательностью, какая свойственна людям, у которых много денег и хороший вкус. Фасад сиял свежей штукатуркой, но не той дешёвой, что идёт трещинами через полгода, а настоящей, известковой, положенной, вероятно, каким-нибудь итальянским мастером. Лепнина над окнами — амур, гирлянды, львиные морды — была восстановлена по старым чертежам. Крышу покрыли медью, и она уже успела позеленеть, приобретая тот благородный, малахитовый оттенок, какой бывает только у старой меди на хороших домах.

Но главное было не это. Главное было то, что к старому особняку пристроили новое крыло — из стекла и стали. И нужно отдать должное архитектору: он сумел сделать так, что стеклянный куб не спорил с лепниной, не кричал, не лез в глаза, а как-то деликатно, почти застенчиво примыкал к старому зданию, точно почтительный внук, подставляющий плечо деду. В этом стеклянном крыле, как позже узнала Елизавета Андреевна, помещались лаборатории, библиотека и спортивный зал с бассейном.

Перед воротами, вдоль чугунной ограды, выстроилась вереница автомобилей. Зрелище это было достойно отдельного описания. Здесь стояли машины, названия которых Елизавета Андреевна знала больше по глянцевым журналам, которые иногда пролистывала в очереди к врачу: Maybach — длинный, чёрный, похожий на гигантского жука; Bentley — приземистый, хищный, с решёткой радиатора, напоминающей рыцарский щит; Porsche Cayenne — серебри-

стый, мощный, готовый, казалось, сорваться с места и умчаться хоть на край света. Были и просто Mercedes, и BMW, и даже один Rolls-Royce — белый, с кожаным салоном, который, как говорят, обошёлся владельцу в цену небольшой квартиры где-нибудь на окраине.

Из автомобилей выходили дети. Каждый — в школьной форме, пошитой, как потом выяснилось, у британского дизайнера, специально приглашённого для этой цели. Тёмно-синие пиджаки с гербом колледжа на нагрудном кармане — золотой лев, стоящий на задних лапах, и под ним латинский девиз: «Per aspera ad astra» (через тернии к звездам). Серые брюки у мальчиков, серые юбки в складку у девочек. Белые рубашки, галстуки в сине-золотую полоску. Туфли, начищенные до такого блеска, что в них, кажется, можно было смотреться, как в зеркало. И у каждого в руке — айфон последней модели. Тогда это был четырнадцатый — Елизавета Андреевна запомнила потому, что сама ещё ходила с одиннадцатым, и коллеги над ней посмеивались: «Елизавета Андреевна, вы как декабристка — всё на старом запасе».

Водители — все как один в тёмных костюмах и галстуках — выходили из машин первыми. Они открывали двери — не просто открывали, а как-то особенно, с той неуловимой элегантностью, какая даётся только многолетней выучкой и хорошим жалованьем. Придерживали дверь, пока ребёнок выбирался наружу, поправляли рюкзак, иногда — пиджак. Некоторые дети рассеянно кивали, другие не замечали вовсе, уткнувшись в экраны телефонов. Для них это было так же естественно, как дышать.

Елизавета Андреевна стояла и смотрела на всё это с тем особенным, смешанным чувством, какое бывает у человека, вдруг попавшего в другую эпоху или другую страну. Она тридцать два года проработала в обыкновенной районной школе на юге Москвы — школе, где в гардеробе вечно не хватало крючков, где в столовой пахло подгоревшей кашей, где парты были исцарапаны до такой степени, что на них уже ничего нельзя было прочесть, кроме разве что самых глубоких, ножом вырезанных инициалов, и где на родительские собрания приходили усталые женщины и небритые мужчины в простых пуховиках.

А здесь... Здесь воздух пах не мелом, а дорогим парфюмом — той особенной, едва уловимой смесью сандала, цитрусов и ещё чего-то неопределённого, что бывает только в очень дорогих духах и очень дорогих отелях. Запах плыл от матерей, которые иногда выходили из машин вместе с детьми — все как на подбор стройные, ухоженные, с сумками Hermès и кольцами, сверкавшими на солнце так, что больно было смотреть.

И деньгами. Да, особенно деньгами. Этот запах не спутаешь ни с чем — он не имеет собственного аромата, но каким-то непостижимым образом просачивается во все остальные запахи, окрашивает их, придаёт им ту особую, холодноватую, стерильную чистоту, которая бывает только там, где всё — от чугунной ограды до последней пуговицы на пиджаке — оплачено и учтено. Так пахнет в банках, в дорогих ресторанах, в частных клиниках, в залах ожидания бизнес-авиации. И так пахло здесь — в Брайтон-колледже, где год обучения стоил больше, чем Елизавета Андреевна зарабатывала за три года в своей школе.

Она стояла, опершись о трость — в последнее время стала побаливать нога, — и думала о том, что увидела. Картина была красивая, даже слишком красивая, до неправдоподобности — как кадр из фильма или страница рекламного буклета. Но было в ней что-то такое, отчего на душе становилось беспокойно. Может быть, эта подчёркнутая, почти неестественная правильность: дети, одетые с иголочки, водители, открывающие двери, машины, сверкающие на солнце. Всё как по линейке, всё без сучка без задоринки. Елизавета Андреевна слишком

хорошо знала жизнь, чтобы доверять такой правильности. Жизнь — она неровная, шершавая, она всегда где-нибудь да торчит, где-нибудь да скрипит. А здесь не скрипело нигде. И это-то и было самым подозрительным.

Она ещё раз оглядела особняк, стеклянное крыло, вереницу машин, последних детей, поднимавшихся по гранитным ступеням к парадному входу. Двери колледжа — тяжёлые, дубовые, с коваными ручками — медленно закрылись за ними. На улице остались только водители, которые, переговариваясь вполголоса, рассаживались по машинам и уезжали один за другим — бесшумно, плавно, точно растворяясь в сентябрьском утре.

Переулок снова опустел и затих. Только липы шумели за оградой, да где-то далеко, за крышами, слышался привычный московский гул.

Елизавета Андреевна закрыла ноутбук — не совсем, а так, едва опустила крышку, оставив узкую щёлку, в которой теплился свет экрана, — и пошла на кухню. В комнате было тихо, только кондиционер гудел где-то под потолком, да изредка, где-то далеко внизу, доносился приглушённый звук клаксона — должно быть, на Кутузовском опять кто-то не поделил дорогу.

На кухне она по привычке не стала зажигать верхний свет. Вообще, у старых людей есть эта особенность: они не любят яркого света. Может быть, потому, что он безжалостно выставляет напоказ всё — и морщины в углах глаз, и трещинки на потолке, и пыль, скопившуюся за долгую неделю. А может быть, потому, что в полумраке легче думается.

Она включила чайник — старый, ещё советский, со свистком, доставшийся от мамы, — и, пока вода грелась, стояла у окна, прижавшись лбом к холодному стеклу. За окном была всё та же Москва: огни, пробка, река, шпиль Университета в дымке. Ничего не изменилось. И вместе с тем изменилось всё.

«Странно, — думала она, насыпая заварку в старенький фаянсовый чайник, — странно, до чего живуча память. Прошло столько лет — тысяча сто девяносто три дня, целая вечность, — а сердце колотится так, будто всё это случилось вчера. Будто я всё ещё там, в Хамовниках, и Тёма Горелов только что опоздал на урок, а я ещё не знаю, что будет дальше. Ничего не знаю».

Она заварила чай — крепкий, с бергамотом, как любила, — взяла кружку обеими руками, погрела о неё ладони и медленно, стараясь не расплескать, понесла обратно в комнату. В комнате было всё так же: кресло, платок, огни за стеклом. И ноутбук, терпеливо ждавший её возвращения.

Елизавета Андреевна села, отхлебнула чаю, поморщилась — слишком горячий — и открыла следующую запись.

завтра ей предстояло войти в эти двери уже не как случайной прохожей, а как новому сотруднику — учителю английского языка в Брайтон-колледже. Странно: тридцать два года в обыкновенной школе, и вот теперь — здесь, среди Maybach и британских дизайнеров, среди детей, которые с рождения знали, что такое «Per aspera ad astra», и, кажется, искренне полагали, что звёзды — это то, что можно купить.

Она усмехнулась своим мыслям и пошла быстрее. Трость стучала по асфальту. Сентябрьское солнце поднималось всё выше, золотило купола, пробивалось сквозь листву старых лип. Утро было прекрасное. И — как знать? — может быть, новая жизнь, которая начиналась сей-

час, в этих Хамовниках, тоже окажется прекрасной. А если нет — что ж, Елизавета Андреевна и не к такому привыкла.

Учительская

Учительская в Брайтон-колледже помещалась на втором этаже старого особняка и больше всего напоминала гостиную богатого английского клуба — такого, знаете, где джентльмены в твидовых пиджаках курят сигары и обсуждают скачки. Здесь, правда, не курили — за этим строго следили, — но всё остальное было именно что клубное.

Просторная комната с высокими потолками и лепными розетками, с огромными окнами, выходившими в старый сад. На полу — дубовый паркет, натёртый до такого блеска, что в нём отражались люстры. Вдоль стен — мягкие диваны, обитые тёмно-зелёным бархатом, и низкие столики, на которых лежали свежие номера «The Times Educational Supplement» и «Harvard Educational Review». В углу, на специальной мраморной столешнице, стояла кофемашина Jura последней модели — огромная, серебристая, похожая на космический аппарат, она умела варить тридцать два сорта кофе и, кажется, имела собственное мнение о каждом, кто к ней подходил. Рядом с ней — ваза со свежими круассанами, которые каждое утро привозили из французской кондитерской на Патриарших.

Но главное, что бросалось в глаза при входе, — это фотографии на стенах. Они висели повсюду, в одинаковых дубовых рамах, под стеклом: выпускники Брайтон-колледжа, поступившие в лучшие университеты мира. Оксфорд. Кембридж. Гарвард. Йель. Стэнфорд. Сорбонна. Девочки в мантиях, с бледными, напряжёнными лицами; мальчики в профессорских шапочках, сдержанно улыбающиеся в камеру. И под каждой фотографией — табличка с именем, фамилией и названием университета.

Елизавета Андреевна, войдя сюда в первый раз, долго стояла перед этими фотографиями и думала о том, что у неё в старой школе на юге Москвы тоже висели портреты выпускников — правда, не в дубовых рамах, а просто на стенде, приколотые кнопками, и под ними было написано: «Наша гордость». Там были лица другие — попроще, поглубже, но зато в них было что-то живое, настоящее. А здесь, среди оксфордских мантий и гарвардских дипломов, она чувствовала себя немного не в своей тарелке — как человек, случайно попавший не в ту дверь и теперь делающий вид, что так и надо.

Первой, с кем она познакомилась в учительской, была Светлана Юрьевна — завуч.

Это была женщина лет сорока семи, высокая, прямая, с гладко зачёсанными волосами и в очках в тонкой золотой оправе. Очки эти сидели на носу так прочно, точно были частью лица — такой же неотъемлемой, как нос или рот. Светлана Юрьевна носила исключительно серые костюмы — ни синих, ни чёрных, ни, упаси бог, цветных, — только серые, разных оттенков, от сизого до стального, и выглядела в них так, будто родилась в деловом костюме и прожила в нём всю жизнь.

Она была женщиной-функцией — есть такие люди, которые с течением времени как-то незаметно перестают быть людьми в обыкновенном смысле этого слова и превращаются в ходячие регламенты. Вся её жизнь, казалось, состояла из циркуляров, предписаний, протоколов и инструкций. Она могла с ходу назвать номер любого приказа за последние пять лет и процитировать любой пункт из устава колледжа. Говорила она коротко, сухо, без интонаций — точно заполняла голосом анкету. И была у неё любимая фраза, которую она произносила

с той особенной, почти религиозной значительностью, с какой дипломаты говорят о государственных интересах. Фраза эта звучала так: «репутационные риски».

— Елизавета Андреевна, — сказала она при первой встрече, протягивая руку — сухую, холодную, точно у фарфоровой куклы, — добро пожаловать в Брайтон-колледж. Надеюсь, вы понимаете, что наш главный приоритет — это репутационные риски. Их минимизация. Родители платят нам не за знания, родители платят нам за статус. Знания — это побочный продукт. Прошу это учитывать.

Елизавета Андреевна молча кивнула, хотя про себя подумала, что за тридцать два года работы в школе слышала много глупостей, но такую — впервые.

Вторым был Дмитрий Холодов, или просто Дима, как он сам просил себя называть, — учитель физкультуры. Ему было двадцать восемь лет, и он был до такой степени хорош собой, что это даже немного раздражало. Высокий, широкоплечий, с фигурой, которая не оставляла сомнений в его бывшей профессии — фитнес-тренер в элитном клубе на Рублёвке, — он одевался у лучших московских портных и носил часы, стоившие, по слухам, больше, чем годовая зарплата обыкновенного учителя. Впрочем, для Брайтон-колледжа это было в порядке вещей.

Дима был любимцем богатых мам — они задерживались после родительских собраний, чтобы поговорить с ним о физическом развитии своих детей, и говорили подолгу, иногда по часу, а то и больше. Он улыбался им своей открытой, белозубой улыбкой, кивал, соглашался, и в глазах его при этом было что-то такое, отчего у мам, даже самых строгих и деловых, начинали дрожать руки и сбиваться дыхание. Впрочем, это к делу не относится.

Однажды, в учительской, за чашкой кофе из той самой Jуга, он разговорился с Елизаветой Андреевной. Разговор зашёл о детях — о тех, которым трудно, которые не справляются, которые отстают.

— Знаете, Елизавета Андреевна, — сказал он, помешивая ложечкой капучино, — я, конечно, прекрасный парень, и все меня любят, но у меня есть один принцип. Я считаю, что слабых жизнь отбраковывает. Понимаете? Отбраковывает — и это нормально. Это естественный отбор. Не надо мешать природе.

Он сказал это так просто, с такой искренней, почти детской убеждённости, что Елизавета Андреевна на мгновение опешила. Она хотела возразить, сказать, что школа для того и существует, чтобы слабые становились сильными, а не отбраковывались, — но промолчала. Ей шестьдесят восемь, и она давно усвоила: с такими, как Дима, спорить бесполезно. Они слишком молоды, слишком красивы и слишком уверены в себе, чтобы сомневаться.

Третьей была Марина Григорьевна — учитель математики, грузная женщина шестидесяти двух лет, с усталым, обрюзгшим лицом и тем особенным, слегка презрительным выражением глаз, какое бывает у людей, слишком долго проработавших в школе и слишком много видевших. Она курила — разумеется, не в учительской, а на улице, за спортзалом, куда выходила каждую перемену, закутавшись в старый клетчатый плащ и попыхивая тонкой сигаретой.

Марина Григорьевна была из старой гвардии — из тех, кто начинал ещё в советской школе, с мелом, тряпкой и классным журналом в клеёночной обложке. Она не питала иллюзий ни насчёт детей, ни насчёт родителей, ни насчёт государства. И когда они с Елизаветой

Андреевной в первый раз разговорились в учительской, именно Марина Григорьевна, закулив (мысленно, разумеется, потому что в помещении не позволялось), произнесла фразу, которую Елизавета Андреевна запомнила надолго.

— Вы знаете, — сказала она, глядя в окно, на жёлтеющие липы, — дети всегда были жестоки. Всегда. Просто раньше они били кулаками, а теперь — статусом. Кому чей папа, какая машина, какой бренд. Это та же драка, только в ней не ставят синяков. Но боли от неё не меньше. Даже больше. Синяк — он заживает. А статус...

Она не договорила и махнула рукой — тем особенным, безнадёжным жестом, каким машут на всё сразу: на школу, на детей, на жизнь.

И наконец, Майя Робертовна — психолог. Ей было пятьдесят восемь, и она была из тех людей, про которых говорят: «весь мир — театр, а она в нём — главный режиссёр». Маленькая, сухонькая, с быстрыми, всё подмечающими глазами, она постоянно носила с собой толстую папку, в которой лежали сертификаты. Сертификатов этих было великое множество — о прохождении курсов, семинаров, тренингов, воркшопов. Она прошла всё: нейролингвистическое программирование, гештальт-терапию, когнитивно-поведенческую терапию, арт-терапию, сказкотерапию, песочную терапию и ещё десятка полтора терапий, названия которых Елизавета Андреевна не могла ни выговорить, ни запомнить.

Но была у Майи Робертовны одна особенность, которая не ускользнула от внимательного взгляда Елизаветы Андреевны: она говорила о детях много, охотно, красиво — правильными словами, с правильными интонациями, с ссылками на правильных авторов. Но когда речь заходила о конкретном ребёнке — вот этом мальчике, вон той девочке, — в глазах её появлялась пустота. Та самая, ни с чем не спутанная пустота, какая бывает у людей, которые много знают о предмете, но никогда не держали его в руках.

— У неё сертификатов больше, чем живых детей, которых она реально выслушала, — заметила как-то Марина Григорьевна, и Елизавета Андреевна, услышав это, не нашлась что возразить.

Такова была учительская Брайтон-колледжа — странное, почти сюрреалистическое собрание людей, каждый из которых по-своему был и прекрасен, и ужасен, и нелеп, и велик. Елизавета Андреевна, просидев здесь первую неделю, чувствовала себя так, будто попала в театр абсурда, где все играют роли, но никто не помнит сценария. Впрочем, она скоро привыкла. Человек ко всему привыкает — даже к тому, что школа пахнет дорогим парфюмом, а завуч говорит «репутационные риски» с таким видом, точно от этого зависит судьба вселенной.

8 «Б» — первые минуты

Елизавета Андреевна вошла в класс, и на мгновение ей показалось, что она ступила не в школьный кабинет, а в чью-то гостиную, обставленную с тем особым, сдержанным вкусом, какой бывает только у очень дорогих вещей. Панорамные окна — в пол, от стены до стены — открывали вид на Москву-реку; вода в этот утренний час лежала серой, неподвижной, будто свинцовой пластиной, и только редкие блики от низкого октябрьского солнца пробегали по ней, дрожа и угасая. Интерактивная доска, занимавшая почти всю переднюю стену, светилась мягким голубоватым светом, выжидая. На каждой парте — iPad в фирменном школьном чехле. Ни одной царапины, ни одного отпечатка пальца на экранах. Здесь умели обращаться с вещами или, вернее, умели не прикасаться к ним без нужды — зачем, если всё и так работает?

Класс был полон. Двадцать три человека — мальчики и девочки четырнадцати лет, — но тишина стояла такая, что слышно было, как на первом этаже вахтёр перелистывает журнал. Не та тишина, какая бывает, когда дети боятся учителя, и не та, что возникает от скуки. Иная — воспитанная, впитанная с молоком матери. Тишина людей, которые с детства знают: громко говорить — удел прислуги; громко смеяться — дурной тон; громко жить — неприлично.

Елизавета Андреевна обвела взглядом лица.

Вот Алина Соболева — первая парта, спина прямая, волосы убраны в тугой узел, какой носят женщины в два раза старше её. Она смотрела на учительницу спокойно, почти доброжелательно, но в уголках её губ пряталась та особая, едва уловимая складка, какая появляется у людей, с четырнадцати лет привыкших оценивать. Оценивать платье, оценивать речь, оценивать всё — как оценивают на аукционе лот, ещё не решив, стоит ли поднимать табличку. Этому учили в их семьях. Не словом — взглядом. Не уроком — примером. Отец Алины владел сетью клиник, и дома, за ужином, говорили о людях так, как говорят о недвижимости: «перспективный», «неликвид», «посмотреть, что с ним можно сделать».

Рядом с ней — Дэн Воронов. Он сидел, откинувшись на стуле, вытянув длинные ноги в кроссовках «Баленсиага» — тех самых, уродливых, похожих на пенопластовые коробки, которые стоили восемьдесят тысяч и которые носили все, кто мог их себе позволить, именно потому, что они были уродливы и дороги. Дэн не смотрел на учительницу. Он смотрел в окно, на реку, и лицо его выражало ту особую, почтительную скуку, какую можно увидеть у молодых принцев на официальных церемониях — когда присутствие обязательно, но мысли далеко.

Чуть дальше — Соня Гольц. Она листала ленту в телефоне, не прячась, не таясь; её айфон последней модели лежал на парте так же естественно, как лежит блокнот или ручка — предмет не роскоши, а обихода. Рядом с ней такие же телефоны лежали ещё у троих. И у двоих — такие же кроссовки Дэна, только другого цвета. И у всех — та же прямая, уверенная осанка людей, никогда не сомневавшихся в своём праве занимать пространство.

И среди этого всего — последняя парта, угол.

Тёма Горелов.

Елизавета Андреевна заметила его не сразу — так глаз не сразу замечает пустое место на заполненной картине. Он был тих. Простая стрижка, какую делают в парикмахерской у дома, а не в барбершопе за пять тысяч; тёмная водолазка без логотипа, без бренда, без той неуловимой «дорогой» посадки, какую даёт ткань за пятнадцать тысяч рублей; джинсы, купленные, вероятно, в обычном магазине — не узкие, не рваные, не подвернутые по моде, а просто джинсы. И айфон — позапрошлой модели, в простом чёрном чехле, потёртом по краям. Он лежал экраном вниз, будто стесняясь.

Тёма сидел, чуть ссутулившись, опустив плечи, и смотрел не в окно и не на доску, а в парту — в одну точку, как смотрят люди, привыкшие ждать. Ждать конца урока. Ждать конца дня. Ждать, когда всё это как-нибудь само разрешится, хотя они уже знают: само — не разрешается.

А вначале произошли три вещи.

Первое: он сел за последнюю парту, в угол. Так садятся не те, кто хочет спрятаться от учителя, чтобы списать или поиграть в телефон. Нет. Так садятся те, кто уже привык быть невидимым. Кто усвоил: чем меньше тебя видят, тем меньше — замечают. А чем меньше замечают — тем меньше поводов для того, что неизбежно случается на переменах, в коридорах, за углом спортзала, где нет камер.

Второе: Дэн Воронов, проходя к своему месту — он всегда ходил по классу так, будто класс принадлежал ему, и, в сущности, так оно и было, — чуть заметно тронул Тёму за плечо. Не толкнул, нет. Даже не задел. Просто кончиками пальцев коснулся — так касаются вещи, проходя мимо, когда хотят проверить: стоит ли она ещё на месте? Не упала ли? И Тёма дёрнулся. Не отдёргнул плечо — дёрнулся *весь*, всем телом, резко, судорожно, как дёргается человек, которого ударили. Хотя никто не бил. Только тронули. Только кончиками пальцев.

И третье: весь класс это увидел.

Увидела Алина, не повернув головы, — уголком глаза, тем самым, которым она оценивала людей. Увидел Дэн, уже отходя, — и на его лице мелькнуло что-то, похожее на удовлетворение, какое бывает у человека, нажавшего на кнопку и услышавшего ожидаемый звук. Увидела Соня, на секунду оторвавшись от телефона. Увидели все двадцать три человека.

И промолчали.

Никто не фыркнул, не улыбнулся, не отвёл глаз. Они просто приняли это — как принимают дождь за окном. Как принимают факт, что вода в Москве-реке серая, а небо в октябре низкое. Как принимают то, что есть вещи, о которых не говорят. Не потому, что стыдно. А потому, что не принято. Потому что говорить — значит замечать. Замечать — значит вмешиваться. А вмешиваться в их семьи учили только тогда, когда это выгодно.

Елизавета Андреевна прошла к столу, положила журнал, подняла глаза и сказала ровным голосом:

— Здравствуйте, класс. Меня зовут Елизавета Андреевна. Я ваш новый классный руководитель.

Двадцать три пары глаз смотрели на неё. Вежливо. Спокойно. Оценивающе.

Урок английского

Был четвёртый урок, и в классе пахло мелом и духами Елизаветы Андреевны — тонкими, как сентябрьская паутина, и столь же неуловимыми. Солнце лежало на партах жёлтыми квадратами, и в этих квадратах, словно мухи на мёде, грелись руки отличниц.

Говорили о семье. Первой вышла Лиза Соболева — та самая, что каждую перемену поправляет бант, глядясь в тёмное стекло телефона. Она рассказывала по-английски, и слова у неё выходили круглые, катаные, как речной жемчуг: папа занят на саммите в Давосе, мама открывает бутик на Патриарших, брат уехал на лыжный сезон в Куршевель. Елизавета Андреевна кивала, улыбалась одними уголками губ, и в этом кивании было что-то от лёгкого поклона.

Потом встал Дэн — полное имя Даниил, но он просил так, и все привыкли. У него выходило ещё складнее: Лазурный берег, яхта, отец ведёт переговоры в Лондоне. Он говорил, слегка растягивая слова, и смотрел не на учительницу, а вверх — в ту даль, где, вероятно, и находились все эти яхты.

Очередь дошла до Тёмы.

Он сидел за третьей партой у окна — худенький мальчик в темной водолазке, которая была ему чуть велика и оттого собиралась складками у запястий. Он встал. Помолчал. Поправил очки — не потому, что они сползли, а потому что нужно было куда-то деть руки.

— My father... — начал он и запнулся, точно слово ударилось обо что-то внутри. — He has a car workshop. He fixes cars.

Слова вышли тихие, простые, без блеска. Они упали в тишину класса, как камень падает в колодец, — и стало слышно, как на задней парте кто-то хмыкнул.

— A workshop? — переспросил Дэн, и в голосе его зазвенело то особенное любопытство, какое бывает у сытых детей при виде чужого обеда. — You mean a garage? Like, with oil and stuff?

По классу пробежал смешок — короткий, словно треск сухой ветки. Тёма ничего не сказал. Он стоял и смотрел в парту, и щёки его медленно заливались тем особым, горячим румянцем, какой бывает только в четырнадцать лет.

Елизавета Андреевна мягко, почти неслышно, сказала: «Thank you, Artyom. That's very interesting. Please sit down» — и тотчас перевела разговор на другую тему, на грамматику, на Present Continuous, который, как известно, не терпит пауз.

Но она видела.

Она видела, как Тёма сел и не поднимал глаз до самого звонка. Как он собирал тетради медленнее всех — ждал, чтобы ушли, чтобы не идти в толпе. Как его спина, прямая и напряжённая, говорила больше, чем все английские слова, вместе взятые.

А когда класс опустел и остались только солнце, мел и запах духов — тонких, как сентябрьская паутина, — Елизавета Андреевна открыла журнал и долго смотрела в графу напротив фамилии «Горелов», точно надеялась прочесть там что-то такое, чего не знала прежде.

За окном шумел город. Где-то далеко, в Куршевеле, скрипел под лыжами снег. Где-то покачивалась на лазурной воде яхта. А где-то — в гараже, пропахшем маслом и бензином, — чей-то отец склонялся над чужим мотором, и руки его были в том самом «oil and stuff», о котором с таким весёлым недоумением спрашивал Дэн.

И было во всём этом что-то невыносимо грустное и невыносимо русское — то, о чём Антон Павлович написал бы рассказ на трёх страницах и поставил бы в конце многоточие.

...

Звонок прозвенел. Елизавета Андреевна закрыла журнал и почему-то вздохнула.

Глава 4. Золотая молодежь и мальчик без оболочки

Столовая

Школьное кафе в «Брайтон-колледже» помещалось на первом этаже, в просторной зале со стеклянным потолком, и больше походило на модный фуд-корт где-нибудь в «Афимолле», чем на место, где кормят детей. Здесь были: паста-бар с молоденьким поваром-итальянцем, выписанным из Милана; вок-станция, где ловкий китаец в белом колпаке подбрасывал лапшу на раскалённой сковородке с тем особенным, почти цирковым шиком, какой обыкновенно вызывает у зрителя улыбку и желание заплодировать; смузи-бар с внушительным рядом разноцветных бутылок; кофейная стойка, возле которой в любое время дня толпились старшеклассники, бравшие двойной эспрессо с таким видом, будто им по меньшей мере тридцать и они только что вышли из совета директоров. Пахло здесь не шами и не подгорелым маслом, как в обыкновенных школьных столовых, а чем-то сложным, многосоставным: ванилью, корицей, свежемолотым кофе и ещё — едва уловимо — тем особым запахом благополучия, который складывается из хороших духов, дорогой кожи и крахмальных воротничков.

Дети рассаживались группами. Группы эти были жёстко иерархичны, и границы их, нигде не записанные, не утверждённые никаким уставом, соблюдались с тою неукоснительностью, с какой в природе соблюдаются границы между видами. В центре залы, у самого окна, выходящего на Москву-реку, стоял большой круглый стол на восемь персон, застеленный белой скатертью, — единственный стол с белой скатертью во всём кафе. За ним сидел Дэн Воронов с ближайшею свитой. Стол этот именовали «королевским» — полушутя, но в каждой шутке, как известно, есть только доля шутки. Никому из непосвящённых не приходило в голову сесть за этот стол без приглашения, и приглашения этого не получал почти никто. За соседними столиками помещались группы рангом ниже: «приближённые к королевскому двору», как острила Елизавета Андреевна, затем — «торговое сословие» (дети бизнесменов средней руки, ещё не миллиардеры, но уже с хорошими карманными деньгами), затем — «крестьянство» (отличники, спортсмены, дети бюджетников по особым квотам). И наконец, у самой стены, возле двери на кухню, где пахло уже не так приятно и где вечно сквозило, стояли три столика, за которые садились те, кто не входил ни в одну группу. Или те, кого не принимала ни одна.

Тёма Горелов сидел именно здесь — за дальним столом у стены, спиной к зале. Перед ним стоял поднос с тарелкой гречневой каши и стаканом клюквенного морса. Он ел медленно, глядя в телефон, и по всей его позе — по опущенным плечам, по чуть сгорбленной спине, по тому, как он старался занимать как можно меньше места, — видно было, что человек этот привык быть незаметным и страстно желает только одного: чтобы его оставили в покое.

В покое его не оставили.

В тот день — это был вторник, и в кафе подавали фирменный манго-маракуйя-смузи, особенно любимый Вороновым и его компанией, — к Тёме подошёл Гриша Зимин, один из «свиты», мальчик с неприятным, каким-то бабьим лицом и вечно потными ладонями. Он нёс на подносе два стакана смузи — себе и, вероятно, кому-то из компании. Проходя мимо Тёмы, он вдруг — то ли запнулся о ножку стула, то ли просто неловко повернулся, то ли сделал вид,

что запнулся, — покачнулся, и один из стаканов, описав в воздухе короткую дугу, опрокинулся прямо на Тёмин поднос.

Смузи — густой, ярко-оранжевый, с кусочками манго — разлился по тарелке, по столу, потёк на пол, забрызгал Тёмину рубашку. На мгновение в кафе стало тихо — впрочем, тишина эта была не та, какая бывает в минуту сочувствия или тревоги, а та, какая наступает в театре, когда зрители ждут, что будет дальше. Гриша Зимин отступил на шаг, развёл руками и с тою преувеличенной, почти карикатурной интонацией, в которой не было ни капли искренности, произнёс:

— Ой, Горелый, ну прости, ради бога. Я случайно. Ты такой незаметный сидишь, что тебя не видно.

И тут — засмеялись. Сначала «королевский стол», потом соседние, потом и те, кто сидел подальше и не видел, что именно случилось, но смеялся за компанию, потому что смеяться над Гореловым было принято, это было в порядке вещей, как здороваться утром или убирать за собой поднос. Смех стоял негромкий, но дружный, и в нём слышалось что-то первобытное, даже не жестокое — а просто дочеловеческое, какое-то глубинное, звериное удовлетворение от того, что вот — есть свой, а есть чужой, и чужому указали на его место.

Тёма ничего не сказал. Он поднялся — спокойно, даже как-то очень спокойно, слишком спокойно для четырнадцатилетнего мальчика, которого только что унизили перед всей школой, — взял салфетку и принялся вытирать стол. Движения его были медленны, точны, почти механичны. Лицо ничего не выражало. Со стороны могло показаться, что ему всё равно. Но Елизавета Андреевна, сидевшая в противоположном конце залы за учительским столом, видела, как дрожали его руки. Она видела, как побелели костяшки пальцев, когда он сжимал мокрую салфетку. И ещё она видела, как он, вытирая стол, ни разу не поднял глаз — ни на обидчика, ни на смеющихся. Он смотрел в стол, в оранжевую лужу, в осколки того, что минуту назад было его обедом, и в этом взгляде было столько тоски, столько незащитности, столько покорной, почти нечеловеческой привычки к унижению, что у Елизаветы Андреевны сжалось сердце.

Она хотела подойти. Хотела сказать что-нибудь — пусть формальное, пусть дежурное, но такое, что дало бы мальчику понять: его видят, его слышат, он не один в этой зале, полной сытых, холёных, равнодушных детей. Но не успела. К столу подошла дежурная — пожилая женщина в клеёнчатом фартуке, с лицом, на котором была написана вечная усталость человека, имеющего дело с чужими детьми и чужой грязью.

— Горелов, опять ты! — сказала она, и в голосе её не было злобы, а было только то особое раздражение, какое вызывает всякая лишняя работа. — Сколько можно? Убери за собой всё, чтобы чисто было.

И Тёма, всё так же молча, кивнул. И опустился на колени — вытирать пол. Никто не помог. Никто не предложил салфетку. Никто не сказал: «Это не он, это Зимин». Смех постепенно стих, и зала вернулась к своему обыкновенному гулу. Инцидент был исчерпан. Можно было жить дальше.

Елизавета Андреевна сидела над остывшим чаем и думала. Она думала о том, как странно устроена жизнь. О том, что в этой зале, где пахнет ванилью и корицей, где на столах белые

скатерти, где кофе варят не хуже, чем в Милане, — в этой самой зале регулярно, буднично, почти незаметно происходит то, что на языке взрослых называется травлей, а на языке детей — «ну они же шутят». И между этими двумя языками — пропасть. Такая глубокая, такая страшная, что в неё проваливаются живые люди. Дети. Мальчики с дрожащими руками и белыми костяшками пальцев. И никто — решительно никто — не протягивает руку.

Она сидела так минуту, другую. Потом надела очки, взяла журнал и вышла. Нужно было начинать урок. Нужно было делать вид, что всё в порядке.

Но что-то в ней уже переменялось. Что-то надломилось — или, напротив, встало на место. Как кость, которую долго и мучительно вправляли.

Раздевалка после физкультуры

Раздевалка в спортивном крыле «Брайтон-колледжа» помещалась в полуподвальном этаже и представляла собою длинное, вытянутое помещение с двумя рядами металлических шкафчиков, покрашенных в благородный серый цвет. Шкафчики запирались на электронные замки — каждому ученику выдавался брелок с чипом, и это обстоятельство, по замыслу администрации, должно было исключать всякую возможность кражи или порчи имущества. Замысел, как это часто случается с замыслами администраций, был превосходен на бумаге и совершенно беспомощен на практике. Дети, предоставленные самим себе, быстро смекнули, что электронный замок не спасает от того, кто знает код или попросту дожидается, пока ты откроешь шкафчик и отвернёшься.

После урока физкультуры, когда потные, покрасневшие мальчики потянулись в душевую, а оттуда — к своим шкафчикам, в раздевалке стоял тот особенный гул, какой бывает только в мужских школьных раздевалках: гул, сотканный из криков, шлепков полотенцами, хлопанья дверцами и того неопределённого, но безошибочно узнаваемого запаха, который складывается из испарений разгорячённых тел, дешёвого мыла, казённых полотенец и резиновых ковров. Не брезгливый человек, а просто внимательный сказал бы, что запах этот — запах молодости, грубоватой и бесцеремонной.

Тёма Горелов переодевался в дальнем углу, у самого окна, заклеенного матовой плёнкой. Он всегда переодевался здесь, в этом углу, повернувшись спиной к остальным, стараясь занимать как можно меньше места и производить как можно меньше шума. На физкультуре он только что пробежал положенные два круга и сдал норматив по подтягиваниям — три раза, с натугой, под смешки одноклассников, — и теперь, усталый и какой-то потухший, стягивал мятую футболку, когда вдруг заметил, что кроссовок нет.

Сперва он подумал, что ошибся шкафчиком. Потом — что переложил их куда-то, машинально, как перекалывают ключи или телефон. Он осмотрел полку, заглянул под скамейку, проверил соседние ячейки — кроссовок не было. Простые, чёрные, с белой полоской, купленные в «Спортмастере» две недели назад. Отец тогда сказал: «Носи, Тёмка, пока нормальные не купим». «Нормальные» — это значило брендовые, такие, какие носили здесь. Но деньги ушли на оплату очередного семестра, и кроссовки остались «спортмастеровскими» — добротными, но не брендовыми. То есть, в системе координат «Брайтон-колледжа», — никакими.

Он стоял у открытого шкафчика, растерянно озираясь, и в этой его позе — босой, в мятых спортивных штанах, с прилипшей ко лбу мокрой прядью — было что-то жалкое, детское, незащищенное. Никто не обращал на него внимания. Вернее, все не обращало — с тем особенным, старательным не обращением, которое означает не отсутствие интереса, а его присутствие, только со знаком минус.

— Не это ищешь?

Голос раздался от двери. Громкий, с ленцой, с той особенной интонацией превосходства, которую не нужно тренировать — она даётся от природы или, вернее, от среды. Дэн Воронов стоял, привалившись плечом к дверному косяку, и держал в руке — двумя пальцами, брезгливо, как держат дохлую мышь, — Тёмин кроссовок. Рядом, разумеется, стояли Гриша Зимин

и ещё двое из «свиты», и лица у них были такие, какие бывают у людей, предвкушающих чужое унижение.

Дэн поднёс кроссовок к лицу, театрально принюхался и сморщил нос.

— Фу, — сказал он громко, отчётливо, так, чтобы слышала вся раздевалка. — Карбоновый запах. Дешёвые вещи пахнут. Ты чё, на рынке их покупал? На «Садовом»?

В раздевалке засмеялись. Не все — человека четыре, пять, — но и этого было довольно: смех, поддержанный несколькими глотками, обладает удивительным свойством — он звучит как общий. Кто-то отвернулся. Кто-то, потупившись, поспешно застегнул рюкзак и вышел. Но никто, решительно никто не сказал: «Отдай». Никто не сказал: «Хватит». Тишина — та особая, вязкая тишина попустительства — была красноречивее всяких слов.

Дэн, насладившись эффектом, размахнулся и бросил кроссовок в дальний угол, за мусорный бак. Тот, куда выбрасывали пустые бутылки, скомканные полотенца и прочий сор. Кроссовок описал дугу, стукнулся о стену и исчез в баке. За ним последовал второй. Потом, так же молча, Дэн вытер пальцы о чужое полотенце и вышел из раздевалки, и вся его свита вышла за ним, как выходят за полководцем — без оглядки, в полной уверенности, что победа одержана.

Тёма остался один. Почти один — ещё двое мальчиков возились у дальних шкафчиков, но они смотрели строго в свои вещи, с тем преувеличенным вниманием, какое выдают люди, не желающие быть свидетелями. Тёма постоял с полминуты, глядя в ту сторону, куда улетели кроссовки, потом медленно, очень медленно, словно во сне, пошёл к баку.

Он искал их довольно долго. Бак был полон — учебный день только перевалил за середину, а уборщица ещё не приходила. Тёма выгребал мусор пригоршнями: мятые стаканчики из-под йогурта, скомканные бумажные салфетки, чей-то рваный носок, пустые бутылки. Запах был тяжёлый, кисловатый, и руки скоро стали липкими, но он продолжал, молча, сосредоточенно, с каким-то неестественным, почти пугающим спокойствием. Наконец, на самом дне, под слоем мокрой бумаги и апельсиновых корок, он нащупал первый кроссовок. Потом — второй.

Он вытащил их, отряхнул, осмотрел. Кроссовки были грязные, в каких-то бурых пятнах, но, в сущности, целые. Он поставил их на пол, обтёр руки о штаны — своих, чистых, салфеток не было, — и принялся обуваться. Делал он это так же молча, так же спокойно, так же страшно. Со стороны могло показаться, что ничего особенного не произошло. Ну, подумаешь, достал кроссовки из бака. С кем не бывает.

Раздевалка тем временем опустела. Последние двое мальчиков, те, что не смотрели, поспешно ретировались, едва только история с баком достигла своего апогея. Тёма остался один. Он зашнуровал кроссовки — туго, на двойной узел, — поднялся, взял рюкзак и, не взглянув на учителя физкультуры, который как раз вошёл с журналом под мышкой и, казалось, ровным счётом ничего не заметил, вышел в коридор.

В коридоре было светло, просторно, стены украшали репродукции картин из лондонской Национальной галереи. Пахло кондиционированным воздухом и едва уловимо — тем самым запахом благополучия, о котором уже было говорено. Где-то наверху шёл урок, и тишина была такая, какая бывает только в дорогих школах в середине учебного дня. Тёма шёл по коридору, и шаги его — мягкие, почти бесшумные в этих кроссовках, которые пахли теперь мусорным

баком, — отдавались чуть слышным эхом. Он спешил на следующий урок, и лицо его было спокойно, и руки больше не дрожали. Только где-то в груди, под рёбрами, сидел холодный ком — маленький, твёрдый, как косточка неведомого плода, которую невозможно выплюнуть.

Елизавета Андреевна узнала об этом случае лишь к вечеру, от той самой уборщицы, которая потом, ворча, очищала бак и обнаружила на дне его, среди мусора, чей-то ученический пропуск — Тёмин, с его фотографией, где он был запечатлён ещё без очков, с наивною, доверчивою улыбкой, какая бывает у детей, ещё не узнавших, что такое школа.

— И что же вы? — спросила Елизавета Андреевна уборщицу, вертя пропуск в руках.

— А что я? — пожала плечами та. — Положила на подоконник. Может, найдёт.

И действительно, Тёма нашёл. Пропуск лежал на подоконнике в коридоре — на самом виду, и мимо него за день прошло несколько сотен человек, и никто его не тронул. Никто не поднял. Никому не пришло в голову отнести его в учительскую, или в бюро находок, или просто окликнуть мальчика и сказать: «Эй, Горелов, ты пропуск потерял». Пропуск лежал, как лежат вещи, до которых никому нет дела. И в этом тоже была своя, особая правда об элитной школе: равнодушие здесь было такое же, как в любой другой, — разве что упаковано дороже. В дорогие шкафчики с электронными замками. В панорамные окна. В белую скатерть «королевского стола». Но суть — суть оставалась та же. И от этого было особенно горько.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.